



Ольга Федоровна Шпилова — прозаик, поэт, политонолог, юрист. Имеет статус творческого работника при Министерстве культуры Республики Беларусь. Автор 11 книг прозы и поэзии. Член Белорусского литературного Союза «Полоцкая ветвь», Союза писателей Крыма. Имеет награды многих международных литературных конкурсов, фестивалей искусств и книжных проектов. Обладатель Гран-при фестиваля «Во славу Бориса и Глеба» (2023). Живет в городе Гомеле.

Ольга Шпилова

ДЕВОЧКА СО СЛИВАМИ

Рассказ

Худенькая девочка десяти лет устало обвела глазами притихший дом, насквозь пропитанный едким лекарственным духом, нервно поправила косыночку на голове. Остановившись взглядом на безмолвных лицах икон, девочка скривилась и, подняв с пола увесистое ведро, решительно шагнула за порог.

— Подожди, Лизка, — уже на улице услышала она хриплый голос своей матери.

Не оборачиваясь, девочка остановилась, замерла. Дождавшись, когда в темноте августовской ночи возникнет силуэт матери, Лиза опустила ведро в густую траву, вздохнула:

— Ну, что еще?

— погоди, перекрещу тебя! — растрепанная женщина с пуховым платком на поясице, покряхтывая, обошла девочку, погладила по голове и трижды перекрестила впахнула грудь. — Теперь ступай, скоро поезд, да только сливы береги, не поешь дорогой! А то ты...

— Не съем! — обиделась девочка и, подхватив ведро, стыдясь внезапной ласки матери, выбежала со двора.

До станции было недалеко, поэтому, оказавшись на узенькой тропинке, которую с обеих сторон обступили спящие

орешники, Лиза замедлила шаг. «Никуда не денется ночной поезд, еще и ждать придется!» Девочка потерла испотевший лоб, перекинула ведро в другую руку. Оно было небольшим, пятилитровым, с красным ободочком. А в нем — медовые сливы, больше похожие на причудливые желтые дыньки. Их все утро Лиза сама собирала. Протягивала руку со сливой к солнцу и смотрела на тонкую янтарную кожицу. Убедившись, что плод не червивый, Лиза натирала сливу носовым платочком и опускала на дно эмалированного ведерка, которое ей подарил отец. Вспомнив отца, Лиза едва не расплакалась. Он тоже ходил на станцию встречать поезда, тащил клетчатую сумку, в которой побрякивали деревянные свистульки. И все говорил о какой-то другой жизни. А потом, вот точно такой же августовской ночью, отец собрал чемодан, поцеловал Лизу, зло посмотрел на рыдающую мать.

— Не реви, так жить нельзя! Я не мо...

На полуслове отец поперхнулся, закашлялся. Он обхватил рукой горло, рванул удавку-галстук, попятился к дверям. Немного постояв, отец бросил в последний раз взгляд на Лизу и вырвался из дома, словно он был его тюрьмой.

Клетчатая сумка отца осталась сиротливо стоять у старенького обеденного стола. Заметив ее, Лиза схватилась за растянутые ручки, одержимая внезапным страхом первой потери, страхом за отца, который не проживет без своих свистулек. Как в агонии девочка выскочила следом.

— Оставь, — прокричала мать. — Пусть идет! — И, догнав дочь, вырвала из ее рук ношу, чтобы неистово отпинать ногами. — На, получай... вот так, вот так!

Сводя счеты с петушками и соловушками, мать мстила за предательство отца.

На следующий день клетчатая сумка отправилась встречать поезда уже в руках матери Лизы. А когда она опустела, на смену ей пришла корова Зарянка, начинившая собой жареные пирожки и распроданная на станции.

Несколько недель назад мать сильно заболела. И Лизе, остро ощутившей значение жизни впроголодь, пришлось самой тянуться на станцию. В первый раз она шла что-то предлагать поездам. Этим чем-то были сливы. Слив Лиза любила, а вот занятие отца и матери ненавидела. Для себя она давно все решила. Никогда и ни за что поезда не лишат ее рассудка, не привяжут к этому жалкому городишке, которому не хватило сил доползти до моря. И теперь он вынужден лишь вздыхать жаркими летними ночами, тоскуя о прохладных бризах, да печально махать ветками орешников вслед спешащим к морю гордым поездам.

На станции было тихо. Все застыло в ожидании сопящего длинного путешественника. Даже фонари прищурили свои желтые подслеповатые плафоны, лишь бы потом, ровно на двадцать минут, осветить путь его на всю свою фонарную мощь. Торговцев на перроне не виднелось. Лиза знала: искать их нужно на заброшенном, поросшем бурьяном дорожном полотне, тело которого уже много лет не режут поезда. Пролезая через заросли орешников, Лиза раздосадованно пнула ногой тонкую ветку: «Разве это город, одни заросли, кому нужны эти орехи? А нет, выскочат заспанные отдыхающие, начнут жадно искать лещину, грецкие, да чтобы подешевле, да чтобы покрупнее, полезные! В чем толк? Будто вся жизнь только из этих полезностей и должна состоять!»

Однажды Лизка рассказала о своих умозаклчениях матери, а та дала ей затрещину.

— Ты как о продуктах говоришь? Счастья своего не понимаешь! Живешь почти у моря, солью дышишь, все натуральное!

— Ага, — обиделась Лиза, — вот именно — почти! И соль твоя вовсе не морская, а обычная, которую добывают для...

— Бога побойся, — перебила мать. — Соль ей не такая! Вся в отца! Другой жизни, вижу, захотела! — Мать с горечью посмотрела на иконы, перекрестилась. — Прости, Господи, дитя неразумное!

Лиза на мать рассердилась. Неотесанная она женщина. Все смотрит на свои цветные картинки и крестится, словно они избавят ее от бед. Вот отец в Бога не верил и совсем другим человеком был, деликатным. И про нее, Лизку, люди тоже так говорят: «Уж больно девочка деликатная!» Теперь папа, наверное, отыскал свою счастливую жизнь. Правда, не звонит и не пишет. И Лизка дала себе слово, что если не сможет вырваться в большие города, из которых через эту скромную станцию летят поезда, то уж точно доберется туда, куда эти самые поезда так стремятся в жаркую пору, дойдет до волны. Потому что почувствовать присутствие моря — это не одно и то же, что владеть им. А Лизе непременно хотелось овладеть морем! Посему, пробираясь через заросли орешников, девочка точно знала, что сделает все возможное, лишь бы не разнести по станции свои молодые годы, лишь бы не оказаться на месте матери, продавшей не только свою жизнь, но и любимую корову родной дочери.

Вывравшись из зеленого плена к заброшенным рельсам, на которых покоились фигурки молчаливых людей, Лиза испытала стыд. Она немного постояла, не решаясь подойти к торговцам, и уж было хотела воротиться обратно, но сливы так сладко пахли и так печальны были они в этом эмалированном ведерке, что Лиза набрала в легкие воздуха и быстро пошла к рельсам. Недолго думая, Лиза плюхнулась возле дремлющего старика и только сейчас смогла выдохнуть. Старик вскинул голову, заворчал:

— Напугала!

— Простите, — пробормотала Лизка, не глядя на торговца.

— Впервые? — подобрел старик, осматривая высохшее, почти старушечьё тело Лизки.

— Ага, — кивнула девочка.

— С чем пришла? — прищурил один глаз старик.

— Сливы у меня...

— О, девка, напрасно, домой иди!

— Это почему? — испугалась Лиза. Ей показалось, что старик сердится из-за того, что она села рядом с ним на рельсы не спросив разрешения.

— В южном направлении никто не берет. Только мед, орехи. Вот взгляни. Мед, как у меня, в сотах. Его любят, полезный. А сливы... Не-а, отдыхающие — люди привередливые, сливы в том направлении не возьмут!

— А в каком возьмут?

— В обратном, это в три часа дня поезд идет. Так что топай домой, девка. К трем со сливами, к трем.

— Нет, — помотала головой Лизка, — не пойду.

Одна мысль о том, что ей придется вернуться в дом, в котором все пропахло болезнью, напугала девочку, да еще без денег, уж лучше пусть здесь, чем дома.

— Ну, как знаешь, — пожал плечами старик, — сиди тогда рядом.

— Я посижу, дедушка, может, повезет мне?

— Может, и повезет. Да не расстраивайся, вот на, — старик протянул Лизе, немного порывшись на своем прилавке, в роли которого выступала картонная коробочка, продолговатый кусочек, завернутый в полупрозрачную бумагу.

— Что это? — удивилась Лизка.

— Бери, бери, это мед в сотах, мой мед! Неужели никогда не пробовала?

— Кажется, нет, — смутилась девочка.

— Ну, вот и попробуешь, — улыбнулся старик.

Лиза поднесла гостинец к лицу, принюхалась. Густой, сочный аромат защекотал нос, наполнил рот слюной, заставил желудок сжаться, зашевелиться, напомнить о себе.

«Нет, не могу, — подумала Лизка, почти совратившись подношением, — нельзя, нужно отнеси маме, ей полезнее!» И пока старик копошился со своими баночками, кульками и свертками, сунула гостинец в карман ситцевого платья.

На станции раздался веселый гудок. «Поезд, поезд!» — пронеслась волна трепетного ликования по заброшенным рельсам. Торговцы один за другим начали вскакивать, приводить в порядок свой товар.

— Пирожочки как пушочки, — звонко напевала полная, похожая на шар, женщина.

— Трубочки сладчайшие, с домашней сгущенкой, — басил мужской голос.

— Мед, цветочный мед, орехи, орехи!

От зазываний торговцев у Лизы затряслись ноги. Она снова, как это было с отцом, когда он позабыл, уходя, свою клетчатую сумку, будто в агонии, схватила ведро, кинулась на призыв ночного поезда.

— Стой, дуреха! — ухватился за ее руку старик. — Ты куда?

— На перрон, — задыхаясь, прохрипела Лизка.

— Ты что, рассудка лишилась? Нельзя туда, здесь покупателей жди! Штрафа захотела?

«А-а-а, точно, — вспомнила Лизка, — мать же ее предупреждала, действительно, дуреха!»

Лиза поправила на голове косыночку, покрутила ведро и тихо опустилась на рельсы.

Заброшенная железная дорога пробуждалась, наполнялась присутствием другой, счастливой жизни. Пассажиры вальяжно расхаживали между коробок с товаром, пускали клубы сигаретного дыма, приценивались, торговались, покупали. Старик живо распродал свой мед. «Детям, — приговаривал он, — очень полезенько! Очень вкусенько!» Лизу замутило. «Что же это такое? Чем же она хуже детей в проносящемся поезде? Разве ей хоть раз сказали родители подобные слова, в которых что ни слог, все забота?! Разве хоть один человек во всем этом огромном мире так пекся о ней, как печется сейчас старик о совершенно чужих изнеженных детях?!»

— Сливы, — робко произнесла Лизка, — полезные сливы...

Девочка чувствовала, как тяжело побороть отвращение к сытым пассажирам, которым нет равным счетам никакого дела до ее слив и до ее мечты дойти до волны.

— Пирожки, — истошно вопила шаровидная женщина, — пирожочки!

Лизка позабыла на минуту о своих сливах, она пристально посмотрела на женщину. Какая глупая затея предлагать пирожки ночью, кто вообще ночью ест? К своему изумлению Лиза увидела молодую пару, хватающую ненасытными руками жирные пирожки. Жадные зубы, впивающиеся в каплю начинку, подвижные челюсти, перемалывающие тесто и мясо. Потом глаза светлолобой Зарянки, ее безутешное мычание, распухшие руки матери, утробный запах кишок... И Лизу стошнило себе под ноги.

«Больно деликатная ты, Лизка, — вспомнила девочка слова матери. — Не хочешь мяса, не жри!» С тех пор, как мать выпотрошила жизнь из ее любимой коровы ради жизни Лизки, она больше никогда не ела животную плоть.

Пока Лизка вытиралась своей косыночкой, стараясь избавить лицо от липкой щавелевой массы, которая еще вечером была огрубевшей горьковатой травой, заполнившей ее пустой желудок, поезд окликнул пассажиров и, собрав их всех в своем уютном чреве, рванул на юг.

— Болеешь ты? — спросил старик, осматривая Лизку. — Кто ж тебя такую хворую на станцию отправил?

— Никто! — огрызнулась Лизка. — Сама пришла, больше уже не приду!

— Да ты не сердись, — погладил старик девочку по голове. — Не сердись. Приляг вот ко мне на колени! Отдохни!

Лиза устало склонилась на бок, зажала между ног ведро и сползла на пахнущие махоркой колени старика.

— Вот так, девка, поспи, долго ждать тебе!

Веки Лизы сделались тяжелыми, руки старика убаюкивали, дрема текла по уставшему телу.

— Вот только дождусь трехчасового, продам свои сливы и больше не приду...

— Придешь! — рассмеялся старик.

— Не приду... — засыпая, бормотала Лиза.

— Только почувешь запах денег и придешь как миленькая, — погладил Лизку еще раз по голове старик, и девочка полностью забылась крепким сном.

Лиза открыла глаза, когда солнце вскарабкалось на самую вершину небосводной дуги. Его опаляющие, злые потоки, как тысячи мелких острых зубов, вгрызались в кожу, не насытившись, снова и снова искали еще не тронутые грязным загаром лоскутки, чтобы сосать, пить эфиры жизни. Лизка пошевелилась. Тело горело как в огне. Шея и ноги затекли. Девочка приподнялась, осмотрелась. Дедушки поблизости не было, вместо его удобных коленей под головой находилась смятая коробка. Ребра ныли, истосковавшиеся за одну ночь, проведенную на рельсах, по мягкой постели или хотя бы шелковой траве сада, в которой Лизка часто лежала, рассматривая пожелтевшие открытки с морскими пейзажами.

— А где сливы? — вспомнив сад, спохватилась девочка.

Лизка повертела головой и, отыскав рядом эмалированное ведро, успокоилась. Правда, только на мгновение. Подтянув ведро поближе, Лиза увидела, что сливы ее совсем плохи, испускают свой последний сливовый дух от безжалостного летнего зноя. Девочка поднялась, взяла ведро и поплелась к зарослям орешников, чтобы в их тени спасти сливы от гибели. Пока Лизка тянула ведро и свое тело, сделавшееся предательски тяжелым, чужим, жажда изводила ее привкусом соли на губах. Они запеклись, стали как гармошки, почти не двигались. С трудом добравшись

до влажной, гудящей комарами тени, Лиза опустила ведро и, не имея возможности стоять на слабых, дрожащих ногах, легла под орешник на бок, по-детски свернувшись калачиком, погрузив в высохший рот большой палец. Немного подумав об умирающих сливах, девочка снова забылась тревожным сном.

Резкий гудок вырвал Лизку из беспамятства, она встрепенулась, схватила ведро и, до конца не осознавая происходящего, рванула на призыв. Ветки орешников царапали лицо, рвали изъеденное комарами тело. Превозмогая жажду, боль и зуд, Лиза вбежала на перрон. Поезд уже стоял.

— Сливы, сливы! — не узнавая свой сиплый голос, кричала Лизка. — Покупайте полезные сливы!

К ней никто не подходил. «Они совсем плохи!» — подумала Лизка и посмотрела на свои несчастные сливы, текущие крупными янтарными слезами.

— Сливы, сливочки!

Неожиданно Лиза испытала непреодолимое желание съесть хотя бы одну, коснуться пересохшими губами мягкой сочной разомлевшей сливовой плоти. Неуверенно, страшась саму себя, Лиза потянулась к ведерку, взяла самую крупную, источающую головокружительный медовый аромат, сливу и укусила ее осторожно за бочок. Сок брызнул во все стороны, потек по гармошкам губ, по пальцам, подбородку, по горящему горлу. Еще никогда Лизе не было так хорошо. Она, забыв, зачем вообще пришла на перрон, к чему и для чего в ее жизни была эта непонятная ночь на рельсах, шла вдоль поезда и ела свои сливы. Ела и улыбалась. Ела красиво, деликатно, так, что снующие мимо пассажиры останавливались, засматривались, хотели тоже припасть губами к ароматной влаге янтарных слив, пахнущих счастьем, югом, солнцем, морскими бризами, странствиями, росными ночами, приключениями.

— Девочка, — не сразу услышала Лиза обращенный к ней крик, — эй, девочка со сливами, стой!

Лиза остановилась, вернула надкушенную сливу в ведро.

— Стой, девочка, мы здесь! — донеслось хлопанье по толстому стеклу.

Лизка подняла глаза и увидела в приоткрытом окне поезда торчащую голову женщины, а за стеклом — еще одну светлую головку, должно быть, ее дочери.

— Вкусные сливы? Сладкие? — спросила торчащая голова.

— Ага, — кивнула Лизка, — полезные!

— Почему?

Лиза назвала сумму. Голова спряталась, начала копошиться за стеклом и снова появилась.

— Мы берем! Давай сюда ведро!

Лиза послушно протянула ведро в загоревшие руки женщины. В это время поезд вздохнул, брыкнулся и медленно пополз по перрону.

Лиза не сразу поняла, что происходит, она с улыбкой пошла за плывущим окном, за двумя головами в нем. Затем, когда догадалась, что поезд уходит, Лиза побежала, начала барабанить по раскаленному боку вагона.

— Стойте, подождите, а ведро?!

Руки женщины в поезде суетливо спешили.

— Сейчас, сейчас, девочка, уже пересыпала, вот держи!

Из окна вылетело ведро, ударилось о перрон, жалобно заголосило.

Лизка сначала кинулась к ведерку, потом опомнилась, бросилась за убегающим окном.

— Стойте, а деньги, как же деньги? — молила Лиза.

— Держи, девочка, — из окна снова появилась рука, на этот раз с курью.

Рука подергивалась, дразнила. Лизка подпрыгивала на бегу, стараясь ухватиться за краешек бумажки, била кулачками, ладошками по ускользающему вагону. Поезд уверенно шел вперед, мчался, не замечая нелепые попытки измученной девочки остановить его. Надменно бросался копотью на бегущую рядом собачонкой обезумевшую юродивую. Когда рука в окне устала манить Лизку, бумажка выпорхнула, подобно бабочке. Полетела, подхваченная ветром. А затем, бросившись почти под ноги Лизке, метнулась за лентяем на всей скорости поездом. Лиза побежала следом. Еще немного — и она настигнет бумажку. Но поезд сделал глубокий вдох, и бумажка оказалась под ним. Лиза бежала и просила поезд остановиться, молила услышать ее. Поезд был безразличен к Лизке, он спешил в большие города. Лиза бежала за ним до тех пор, пока силы не покинули ее. Не справившись со своими ногами, девочка рухнула на железнодорожное полотно, разбила нос и колени. Горечь и обида разрывали сердце. И жалость... Не к себе, а к своим несчастным умирающим сливам. Вдоволь нарыдавшись, измазанная грязью и кровью Лиза пошла обратно. Ее карман слипся от раздавленного медового кусочка, о нем девочка совсем забыла и теперь никак не могла понять, зачем она его вообще несет домой.

— Никогда больше не приду! — зло шептала Лиза. — Лучше бы сама сливы съела! Ни за что не приду!

Лиза шла, клялась себе и проклинала всех. Она ненавидела поезда, ненавидела станцию и свою деликатность. Когда вдальеке, через пелену колючих слез, девочка узрела свое ведро, то ускорила шаг, боясь, что и оно исчезнет. Неловко второпях поставив ногу, Лиза снова растянулась на железнодорожном полотне. Из последних сил девочка попыталась поднять свое истерзанное тело, широко расставила руки, ухватившись одной за рельс, и внезапно ощутила за ним, по другую сторону, что-то прилипшее, шелестящее. С замиранием сердца Лизка потянула это что-то от рельса и увидела перепачканную мазутом свою бумажку. Ликуя, девочка прижала ее сначала к груди, потом к пересохшим губам, затем к исцарапанной щеке. Ее душа пела. «Значит, есть справедливость на этом свете, значит, мамыны картинки все же что-то, да видят, в чем-то, да помогают!» Спрятав бумажку в другой, чистый, карман и неустанно проверяя ее на ходу, Лизка залетела на перрон, подхватила свое эмалированное ведро и почти вприпрыжку побежала к дому по узенькой тропинке, которую с обеих сторон обступили изнывающие от жары орешники, чтобы уже завтра спешить на станцию к трехчасовому с янтарными сливами.

СТАРИК

*Медицина — это любовь,
Иначе она ничего не стоит.*

Поль де Крюи

В больничной палате негде было укрыться. Здесь всюду властвовал невыносимый бесконечный глухой стон. Его издавали все одновременно. Казалось, он исходит не от людей, а от шести железных кроватей, от несвежих наволочек и скомканных простыней, то там, то здесь прикрывающих дышащие неподвижные глыбы мужских тел, обезображенных бо-

лезно. Тяжелый дух шатром висел под самым потолком, временами грузно колыхался, взбудораженный порывами ветра в распахнутом настежь окне. Всякое дуновение его приносило запахи горячего асфальта и сухой земли. Запыленные занавески вздувались парусами, необузданно хлестали грязные стекла и подоконник в мелких серых песчинках.

Он лежал возле окна на боку, подтянув под себя тонкие, посиневшие ноги, отвернувшись и от стонов, и от самой палаты, как можно сильнее вжимался правым ухом в мякоть перьевой подушки. Хотелось уснуть, чтобы забыться хоть на мгновение, но сон не приходил. За окнами жарил июльский полдень, гневно метались занавески, посыпая подоконник и его сжатые, перекошенные губы злым песком. Старик не понимал, зачем он здесь. Тело немного подводит, капризничают ноги и руки, вместо слов — мычание, но он — не они, он — не бревно. Его рассудок свеж и чист, мыслей много, и бодрость тела непременно должна вернуться: если не сиюминутно, то постепенно, со временем. Уже неделю в госпитале, а так ловко приросло это обидное «дед», «старик». Да разве все так? Чуть больше семидесяти, еще мужчина! Раньше никогда не болел: военный человек, добрая закалка, молодецкая выправка. И так неожиданно сдал... Нет, не сам так решил, дочка, любимая перепелочка. Отделение, в которое его доставили, было скверным, темным, смердящим смертью, уж этот запах он ни с чем никогда не спутает, для больных с тяжелым поражением головного мозга. Старик никак не хотел смириться, что теперь он — один из них, один из этих гниющих живых мертвецов, испражняющихся под себя. Преданным щенячьим взглядом молил дочь не отдавать его сюда, а она, перепелочка, вытирала сухие покрасневшие глаза крошечным кулачком, приговаривала: «Надо, папа, надо!» Тогда он вспомнил, как вел ее с двумя огромными бантами на голове в детский сад. На полпути она упала на четвереньки, обхватила его колено упрямыми руками, по-старушечьи запричитала. Он опустил на корточки перед ней, обнял за худенькие плечики, плачущую, вздрагивающую, провел пальцем по щеке: «Надо, Танечка, надо!» Жизнь, вся наша жизнь — взбешенный бумеранг, тяжелеющий с годами. Поздний ребенок, раннее вдовство.

Старик попробовал свою руку, она подчинилась. Радуюсь нелегкой победе, он дотянулся до подоконника, там все это время молчал старенький мобильный аппарат. Старик поднес его к глазам. Звонков не было, но батарея разрядилась. Он пошарил по подоконнику, отыскивая зарядное устройство. С одиннадцатой попытки, он сосчитал, мозг отчетливо улавливал каждую деталь, сунул ее в гнездо телефона, провел огрубевшей кожей ладони по стене, нашел розетку. Все — телефон получает энергию. Теперь не страшно, теперь он всегда на связи.

Успокоившись, старик снова уперся ухом в подушку. От неизменно го положения ушная раковина ныла, затекло правое плечо, но он боялся перевернуться: на спине несколько пролежней. И это за неделю! Санитарки заругают. Хотя так лучше. Если вытянуть шею, можно рассмотреть боличную дорожку, два танка, боевых, настоящих, и еще фонтан. Там сушит газоны июль, блекнет трава, гуляют пациенты из кардиологии. Почему он не в кардиологии? Мог бы тоже гулять, или хотя бы на коляске... Лишь бы иметь возможность поджидать у центрального входа свою перепелочку. Тоскливо сжалось сердце. Заныло. «А вдруг инфаркт?» — встрепенулся старик. Тогда точно в кардиологию, только бы не здесь, где тюрьмой сомкнуты стены и пицат совсем рядом, должно быть, палаты через две, аппараты блока интенсивной терапии. А там смерть. Он знал

это точно. Вчера ночью одному из больных его палаты стало плохо. Прибежала заспанная толстая санитарка, за ней — сердитая медсестра, увезли в блок. А потом, он сам это видел, дверь была открыта настежь — жара... Своими глазами, не знаящими сна, видел: под утро катили к лифту накрытую каталку, груды тела на ней под простыней, неподвижную, замершую, грустную. Ровно в восемь место старого пациента в палате занял новый пациент, такой же большой, стонущий... Но он — не они, он — не бревно, он все видит и слышит, и ему не все равно, где жить и как умирать. Только не здесь, где угодно, но не здесь.

Мысли о смерти заставили старика снова сделать усилие над собой. Слабая ватная рука приподнялась тонкой плетью над высохшим телом. Опустилась на бедро. Болезнь пила его всего медленными, уверенными, затыжными глотками. Дрожащие росинки прозрачной жидкости в системе капельницы не успевали за ней. Раз — в вену проникала кроха жизни, два — облизываясь, сглатывала ее немощь. Старик провел рукой от колена до бедренной кости. Наготу прикрывал взмокший от жары подгузник. Стыдоба! Рвануть бы со злости ненавистные липучки, освободить тело от постыдного унижительного седла! Нет, рука не настолько сильная. Да и разве велено? Снова поднимут крик медсестры, иная и шлепнуть может. А из подгузника тянется длинная трубка до самого больничного пола — катетер. Когда его ставили, старик едва не лишился чувств: и боль, и позор. Хотелось кричать от безысходности, от беспомощности, от того, что никак не мог себя защитить. Он махал на медсестру непослушной рукой, мычал, пытаясь оборонить хоть то последнее, что оставила для него болезнь, — свое тело. Сейчас оно ему больше не принадлежит. Всему, чему угодно: медсестрам, санитаркам, подгузнику, капельнице и катетеру — но только не ему.

Старик тяжело вздохнул, к глазам подступили слезы, а раньше никогда не плакал. Если бы только Танечка была рядом, присела бы аккуратно на краешек кровати, провела бы теплой ладошкой по голове, прижалась, как в детстве: «Папка, папочка, пойдем домой!» — «Забери меня, доченька, моя перепелочка!» Ведь еще не старик, нет! Дома и стены летят, дома все пойдет на лад! Вернется и здоровье, и молодецкая выправка, только бы не здесь, где шатром висит дурнота.

В дверях что-то гулко лязгнуло. Старик сжался. Хоть бы не за ним! Неспешно, зная, что добыча никуда не денется, в палату забиралась каталка, клацала холодными колесиками, оскаливалась, хохотала. За ней — голубой медицинский костюм, неопрятный, застиранный, с полинявшими желтоватыми пятнами. Шаркающие медленные шаги, скрежет металла, тяжелое сопение санитарки заставило палату замолчать. Стон в одночасье прекратился. Простыни поползли по ожившим грудам, стараясь их спрятать, укрыть хоть немного. Кровати копошились, старик видел это не однажды. Всякий раз, когда и колесики и синяя дерматиновая каталка еще в дверях палаты начинали устраивать ежедневную переключку, бревна воскресали. У кого рука, у кого нога, у кого только шея, не важно, — все эти части истерзанных, опухших, накаченных жидкостями человеческих тел приобретали признаки жизни, возвращали утраченное движение, пытаясь защитить себя тем немногим, что принадлежало им.

Старик приподнялся, повернул голову. Каталка двигалась к нему. Она уже отпихнула собой, требовательно, бесцеремонно, соседнюю притихшую кровать, стараясь пришвартоваться к бортикам его постели. Голубой костюм ударил по ним. Бортики, ойкнув, подчинились, сложились.

Старик дрожал: сейчас будет больно. Его кровать дернулась, подалась вперед, резкий выпад ее заставил хрипеть, все тело вместе с кроватью шухнуло санитарке к ногам.

— Лежать! — скомандовала она и, сняв с головы голубую шапочку, отбрала потное лицо.

Старик рассмотрел его: красное, с бычьим взглядом. Как неловко сейчас лежать перед такими глазами в подгузнике да еще с катетером!

Санитарка ухмыльнулась, уставилась на подоконник, на котором старенький мобильный телефон сосал через тонкий провод электрическую энергию.

— Ну ты, дед, даешь! — раздался глубокий грудной хохот.

Раньше старик любил такой. А сейчас стало страшно.

— Нет, ну вы полюбуйте, умирать собрался, а все как ребенок!

Санитарка рванула провод, телефон вскрикнул, полетел между кроватью и подоконником, громко стукнулся о батарею. Его детали, как фрагменты человека, напоровшегося на мину, ударной волной разбросались по полу.

— Убили! — закричал старик. — Убили!

— Чего ты там мычишь, дед? Не мычи, все равно говорить не можешь! — рассердилась санитарка. — Ты пойми, старый пень, это не положено! Подоконники должны быть свободны от вещей. Дошло?

Тонкий черный провод зарядного устройства обреченно раскачивался, зацепившись за проводную тумбочку. Старик плакал. Это была последняя нить, на которой больше никогда не возникнет, не появится умный тихий аппарат, связавший его с миром живых, с его Танечкой, с родным домом.

— погоди, дед, вон того проверю! — санитарка шагнула к кровати напротив. — Опять обделался?! Ух, как же вы мне все надоели, и сами не живете, и другим не даете!

Старик видел, как безнадежно дрожала простынь, шаталась в испуге кровать.

— Чего мнешь-то все под себя? — ругалась санитарка. — Опять шерсть свою раскидал, ох, хоть бы они у тебя все повылезали, бородой он трясет!

— Зина, перестань! — в палату бесшумно, почти на цыпочках, вошла молоденькая медсестра.

Старик выдохнул. Вот она, его избавительница, хоть кто-то заступится! Девушка была хрупкой, тоненькой, темноволосой. Как его Танечка. Милое существо, неспособное на злость. Еще не зная эту девушку, старик уже полюбил ее.

— Не надо, Зинуль, нервы побереги! Нам еще в ночь с тобой, а ты себя уже извела!

Разочарованно старик отвернулся. Пусть делают, что хотят!

— Зинуль, грузим деда, давай: ты — в ногах, я — в голове!

Цепкие руки ухватились за края простыни, рванули вверх, потом в бок. Старик почувствовал, как сердце едва не оторвалось от сосудов, лопнуло в плече, затем — в ключице. Острый копчик первым почувствовал грубый фарш запрелого подгузника. Потом позвоночник ощутил липкий дерматин каталки. Рядом шлепнулся мешок для слива мочи.

— Ух, и тяжеленный, гад, — выдохнула Зина.

— Ничего, хорошая физическая нагрузка! В спортзале девушки не такие тяжести поднимают! — подмигнула медсестра.

Каталка дернулась, перевела дыхание, легко двинулась вперед. Быстро, почти играючи.

— С ветерком деда прокатим! — засмеялась медсестра.

Его катили долго. Сначала по коридору, темному, затхлому. Затем был грузовой лифт. После — коридор первого этажа госпиталя. Редкие посетители бросались в стороны, прижимались к стене. Старик, поверх которого накинута простынь, походил на покойника. Покойников люди боятся.

Перед дверями рентген-кабинета каталка опять отдышалась, с новыми силами продолжила движение в глубину прохладного зашторенного помещения.

— Не переживай, дед, — склонилась над ним медсестра, — сейчас снимок сделаем и все!

Она была добра к нему, снова похожа на Танечку, на его перепелочку. Такие же бездонные глаза, та же полуулыбочка, едва заметная, как тень, скользящая по фарфоровому лицу. Он опять ее любил, он опять в нее верил. Даже это обидное «дед» был готов простить. Еще не старик, но и она — пока не женщина, дитя, милое неразумное дитя.

Его тело снова подняли на простыне, снова рванули вверх и вбок. Он оказался на столе снимков рентгеновского аппарата. Санитарка Зина потянула липучки подгузника, скривилась. Теперь на нем не было ничего. Трубка мочеприемника полностью обнажилась, уродливо выгнулась желтым червем, переполненный мешок колыхался рядом, как огромная медово-слизкая медуза. Стало стыдно и снова страшно. Стол был холодный, твердый, на секунду показалось, что, должно быть, такие столы есть в морге, и старик задрожал. Белый халат медсестры находился у самого уха. Старик повернул голову, посмотрел на колени под ним, на подбородок, на заостренный нос. Девушка почувствовала его взгляд, ласково опустила руку на его голову, прошептала:

— Потерпи, дед, сейчас чик — и все!

Старик, расчувствовавшись от ее доброты, боясь холодности рентген-аппарата, неожиданно для самого себя обхватил острые девичьи колени, уткнулся лицом в тонкие ноги, в теплый халат, жадно вдохнул запах жизни, живого тела. В этот час он был напуганным ребенком, ждущим нежности пусть не от матери, но хотя бы от той, кто матерью может стать.

— Ах ты, черт старый! — закричала девушка. — Скоро умирать, а все туда же!

Медсестра с силой отпихнула его слабую голову от своих коленей, ударила по рукам.

— Зина, ты это видела?

— Ничего, я ему устрою! — хмыкнула Зина и показала старику свой красный кулак. — Вот только в палату вернемся!

Горькие слезы текли по его щекам. Хоть чуточку милосердия, самую малость, и не было бы так темно в этом кабинете, в длинных коридорах, в госпитальном здании, насквозь пропитанном, как его зловонный от пота подгузник, и болью, и страданием, и отчаянием.

Едва его вернули в палату, старик тут же вжался в свою подушку правым ухом и больше не поднимал головы. Зина зло заправляла его высохшее, измученное тело в новый подгузник. Он больше не помогал ей. Чувствовал, как она яростно выкручивает суставы, рвет простыню под ним, желая заменить ее свежей. Теперь старику было все это безразлично. Вдоволь наплакавшись под рентген-аппаратом, он больше не хотел

жалости к себе. Не было страха, стыда, чувств. Только внутренний холод от происходящего. Где-то глубоко в сознании зародилась уверенная мысль, которая приносила облегчение: если нельзя покинуть это отделение на своих ногах через центральный вход, то всегда можно попроситься с ним на каталке через морг. Блок интенсивной терапии больше не казался угрожающим, и писклявые аппараты уже не наводили тоску. Все равно! Какая разница как?! Лишь бы не здесь!

Когда принесли ужин, он не встрепенулся, как бывало прежде. Медсестра пыталась его накормить. Он сжимал зубы. Она сердилась. Не выдержав, бросила ложку на тумбочку, выругалась. Ему не было страшно, уже нет. Хотелось, чтобы поскорее закончилась никому не нужная борьба. В душевной палате из шести стонущих кроватей никто не хотел умирать, но уже и не жил, а те, что лавировали между кроватями в белых халатах и синих костюмах, не жаждали продолжения этой полужизни.

Старик приподнял голову, осмотрел палату, кровати, пол. На нем все еще лежал разбросанный старенький телефон. «Хоть бы убрал кто!» — подумал старик и ощутил, как сердце сжалось. Выпотрошенное содержимое аппарата: батарея, забившаяся в угол сим-карта — все было напоминанием того, что без них, собранных воедино, он теперь ничем не лучше стонущих бревен, испражняющихся под себя. Теперь он — один из них.

Дверь осторожно скрипнула, замерла, точно задумалась. Опять закрипела. Воздух колыхнулся, тягелый, густой, он словно расступался перед чистотой, врывающейся клином в больничную затхлость. Старик боялся посмотреть на дверь. Он вжал голову в подушку, зажмурился. Как лошадь, уставшая, загнанная, шумно потянул воздух в себя. Пахло земляникой, влажными полянами, росной травой. Перепелочка! Танечка!

Она нерешительно постояла у входа, страшась отпустить дверную ручку. Потом шагнула внутрь, закашлялась. Опасливо, мельком взглянула на кровати, прикрыла узкой ладошкой глаза и побежала к нему. Он помнил. Он знал. Точно так много лет назад Танечка бежала к нему в ночи, не имея больше сил ожидать у калитки родного дома. Каждый куст пугал ее, угрожал черными ветками. Она для смелости быстро неслась по тропинке к нему, приложив ладошку к глазам.

— Папка, где ты так долго ходишь?

— Прости, доченька, на службе задержался!

Старик считал каждый ее стремительный шаг, не поворачивая головы. Затылком слышал, как своей молодостью, тонким телом сечет на сотни кусков сгустившееся больничное одиночество.

Присела на краешек, припала губами к его виску. «Не спишь, папочка?» Он боялся повернуть к ней лицо, из глаз предательски брызнули слезы. «Не сплю, доченька! Не могу уснуть который день». — «Не плачь, папочка!» Старик приподнялся. Слабое тело, как у выброшенного из гнезда птенца. Подтянул колени, подался вперед, уткнулся по-детски носом в ее ладони: земляника, лесные поляны, солнечное тепло, нежность и защищенность. Надежные успокаивающие объятия той, кто не была ему матерью, но однажды ею может стать.

Палата смолкла. Стон прекратился. Робко зашевелились простыни. У кого рука, у кого нога, у кого только шея — все эти части человеческих притихших тел выглядывали из-за скомканного белья, чтобы тоже почувствовать, прикоснуться к лету, к жизни, землянике и молодости. Да, он — как они, а они — не бревна! «Не уходи, Танечка, задержись, перепелочка, останься с нами, чтобы в воздухе дрожали свежие утренние росинки,

чтобы осиротевшие души наши не боялись пискающих аппаратов блока интенсивной терапии, чтобы никого не увезли ночью на каталке в морг. Потерпи, Танечка, дай только времени сделать свое дело: вернется и здоровье, и добрая закалка, и молодецкая выправка».

«Не уходи, доченька!» — безмолвно зывали шесть скомканных простыней, шесть несвежих наволочек, шесть воскресших тел, спорящих с болезнью.

РЕКВИЕМ

«Сметливому» — русскому военному кораблю.

Я живой — моя смерть понарошку!

В Северном доке провели его конвертацию: сняли валолинии и винты, заглушили подводную арматуру, лишили амуниции, спустили флаг. Потом направили в Южную бухту, в которую уводили его три буксира. Корабль задрожал в последний раз горячим воздухом над передней правой дымовой трубой своей и преданным сторожевым псом подчинился маршруту, чтобы остаться в клетке локальной акватории навечно. Без винтов эсминец сделался похожим на человека, утратившего конечности под минометным обстрелом. Члены его сначала разбросались на суше, а потом аккуратно выстроились в ряд музейными экспонатами. Южная бухта встречала его печально-приветливо, как научена была встречать военные корабли: еще живые, но уже морально устаревшие. Эсминец отыскал свое место у причала, отведенное для него бессрочным боксом, и затих.

Насупившись, одними только локаторами он видел перед собой свои лопастные движители, артиллерийские установки, бомбометы, морские мины последней искомой целью. Под ним трепетало и цело пронзительно-волнующее бирюзовое море. Чем свободнее было оно от бухты, тем яростнее рвало его радиолокационные установки. Вечная песня соленых живых вод рождала хор, оркестр, альты и сопрано бакланов, чаек, афалин, белобочек и азовок. Когда-то он тоже пел. Старательно дул в газыые турбины, рождая музыку. Как четыре флейты, звучали они на самых высоких тонах. Последний из поющих фрегат, «Черная жемчужина» Черного моря: признан, обласкан, любим, но все же заживо замурован бухтой. Если бы винты могли хоть на время вернуть на место, он всем своим истосковавшимся естеством непременно рванул бы в открытые воды на скорости полного хода 39 узлов и запел. Запел бы так тонко, так пронзительно, как никогда этого не делал, что бакланы и азовки, чайки и белобочки подхватили бы его мотив, а сама бухта не поверила бы в чудо соприкосновения с ним. Но винты схватились скорбной дремой на причале. В тяжелых полуснах своих они все тянутся золотом латуни к его стальному пепельному телу и никак не могут дотянуться. Зияющие черными глазницами турбины молчат.

Он уперся кормой в причал, даже не лагом, а хотелось уткнуться в него носом. Нет, лучше не уткнуться, а вонзиться с размаху форштевнем в минную стенку, чтобы ускользнуть из навязчивой памяти, закрыться от всех и вся. Столько людей приходит к нему: трогают, гладят, смотрят, вздыхают, радуются, восхищаются — и от этого делается нескончаемо тоскливо, отчаянно одиноко. Приходят поглядеть на его немощное увечье, оставить безобразие отсеченных от тела его членов себе на память.

А прежде? Как много всего было прежде! Раньше на него засматривались любопытные белобочки, тарасили свои умные глазенки на мощный корпус, слушали пение и сами подпевали металлическим скрежетом заржавевших петель. Он гляделся в антрацитовое зеркало безбрежных вод, видел свое отражение в них и ликовал. Разве мог подумать тогда, догадаться, что последним его длительным путешествием в 20 тысяч миль станет поход в Средиземное море, откуда он вернется уже не кораблем — музеем.

А люди все шли и шли к нему. От тысячи пытливых глаз корабль хотел отвернуться, забыться теплой живой собачей плотью в мертвецки-темном углу клетки — и не мог. Для чего ему все это? Как эти праздность, почесть, восхищение, что приносят с собой чужие, не понимающие его отчаяния люди, могут мириться с боевой тоской? Порой ему хотелось от нее выть, кораблю мечталось выдавить из себя хоть каплю соли, но всю ее отняло море. Где же те, что были с ним рядом в служебном строю, все 320 членов экипажа: капитаны, офицеры, мичманы? Теперь его, списанного, берегут. Поддерживают замершую жизнедеятельность восемь контрактников, один мичман да три офицера — спасибо им. Но для чего? Для чего жить, если не совершать морских походов, если не петь, не тревожиться, не палить?! Все-таки еще живой, сильный и голосистый! И пусть стар, и пусть немоден, но жив! Жив!

На расстоянии восьмидесяти миль от эсминца по морю и в восьмидесяти пяти километрах от Южной бухты по суше шел человек. Шел неуверенной шаткой походкой, слегка припадая на правую ногу, как могут ходить люди, лишённые опоры в вере, ожидании, терпении, в будущем. За его спиной покачивался пыльный, похожий на вещмешок, истрепанный временем рюкзак. Обе руки человека трепетно, точно еще не угадывая случившихся за годы изменений, вжимали в грудь поблекший старый футляр. Пальцы двигались сами собой, лаская его и удивляясь, как удивляются прикосновением пальцы матери к ребенку, внезапно составившемуся. Глаза человека были подернуты тонкой паутиной безразличия ко всему вокруг происходящему. Желто-песчаный налет его взгляда не отражал ни единой эмоции, ни одного чувства. И лишь густые темноматовые мазки, расплывшиеся кляксами под ними, утверждали, что глаза человека видели многое, и то увиденное остановило движение жизни внутри него. Человек был худ, смугл, не имел признаков возраста. Лицо его могло принадлежать старику и юноше одновременно. Высокая жилистая шея выворачивала наружу острый кадык. Мальчишеский затылок напрягался всякий раз, когда позади шуршал щебень или шелестело платье. Угловато-упрямые скулы создавали впечатление неверия миру, кожа подернулась точечными оспинами заживающих ран, высокий лоб удивленно приподнимал тонкие, едва мужские брови. Человек был облачен в брюки защитного цвета и вылинявшую не то синюю, не то серую рубашку. Общий вид его создавал впечатление усталой неухоженности, безразличной неприбранности. И если бы не футляр, опаленный солнцепеком, человека могли бы принять за бездомного.

Слева, где шумела и дребезжала на все лады автодорога, прогремела тяжелая машина «Зеленстроя». Человек вздрогнул, на секунду проснулся, и теплая, еле уловимая улыбка тронула его сжатые губы, смягчила, как размокший в чае сухарь. Знакомые звуки разбудили живость души его и вновь окунули в оцепенение памяти. Они не были такими рьяными, как там, откуда он вернулся, не секли тело, не рвали слуховой нерв,

Но все же что-то, откуда далекое, рекомендованное эскулапами к забытью, вдруг всколыхнуло его всего, странным образом сделавшись ностальгически-родным.

Навстречу надвигалась толпа. Ее можно было принять за демонстрантов или роту пестро разодетых добровольцев. Но то всего лишь были туристы. С самого момента своего появления на свет в этом городе он так и не смог к ним привыкнуть. Отец твердил, что курорты на руку тем, кто имеет талант — карманы ни за что не опустеют. Но свой талант еще мальцом он не научился раздавать людям. Так, дул в свою трубу ради себя самого да ради кипарисов, моря, неба, цикад, бездомных псов. Вот и сегодня захотелось повторить былое мальчишество. Захотелось так остро, так отчаянно, что он, с трудом вскарабкавшись на табурет, отыскал на шифоньерах пыльный футляр, чтобы заполнить голосом спрятавшегося в нем медного зверька мертвую пустоту внутри себя.

А толпа праздно надвигалась, шумливо медлила, мешала привычному маршруту горожан. Едва местный житель, лавируя, пытался прорваться сквозь нее к своим будничным обязательствам, образовывалась давка, в которой сердились, толкались, роптали. Оказавшись в бурлящем потоке душных ленивых тел, человек начал припадать на правую ногу с новой силой. Движения его сделались неловкими, он всяким разом цеплялся за ноги, то плечом за прохожих, и тревога взялась давить его грудь: как бы, зазевавшись, туристы не навредили футляру. Вдруг в толпе кто-то удивленно вскрикнул и позвал высоким женским голосом:

— Андрей?!

Человек, шатаясь, пробирался мимо разноцветья благоухающих рядов.

— Андрей! — голос действительно повторил имя.

Невзначай человек понял, что окрик адресован ему. Он тоже Андрей. Был наречен этим именем при рождении. Имя сопровождало его ровно до того момента, пока он не покинул курорт и не оказался там, где курортом называется сон и время на отдых. Давно уже не Андрей — Маэстро: так титуловали его товарищи за виртуозное владение инструментами. Без музыки там нельзя, душа не выживет.

— Андрей, ты ли это? — к нему прорывалось лицо женщины.

Он не узнал его, не хотел узнавать. Потому ответил лавровому кусту у тротуарного бордюра, который безжалостно общипали туристы:

— Я, стало быть.

— Живой?

— Живой... — не то себе, не то растению ответил он, немного подумав, добавил: — Хотя все относительно.

И, не поднимая головы, тяжело пошел дальше, зацепившись опустевшим восприятием лишь только за имя свое, которое не мешало бы вернуть на место. Тела всех сущих должны быть наречены, а человеку тем больше нехорошо водиться с прозвищем.

Позади еще что-то выкрикивалось, изумлялось, сетовало, причитало. Люди застилали дорогу, их веселое жуужание мешало думать. Хотелось поскорее вырваться из плена копошащегося месива, забыться музыкой и морем. Но люди шли и шли, выворачивая из памяти безотрадные воспоминания, от которых он бежал, заставляли бить гвозди в крышку собственного соснового ящика. Их счастливые сытые лица не соединялись с холодной отчужденностью, с мертвым оцепенением его души. И только теплый футляр, о который с трепетом ударялось сердце, свидетельство-

вал о том, что человек, от рождения именованный в честь Апостола Первозванного, все еще жив.

На набережной было многолюдно: уличные артисты давали представление, то там, то здесь толпились любопытные зрители, метались разноцветные шары в руках смеющихся беспечных детей, зазывно кричали торговцы сладких лакомств, игрушек и цветов, молодежь сорила листовками. Все это рождало нескончаемый хаос, человеческий вопль. Андрей отыскал самую тихую скамейку, устало опрокинул на нее свое тело, погладил футляр. Хотелось приблизиться к морю, но у Часовни, на сером галечном лоскутке, оставалось разбросано с десяток обнаженных красных тел, возилась ребятина с надувными утками в прибрежной пене. Чуть левее ровными полосами врываются в море пустые причалы, совсем скоро к восьмому придет «Комета». Андрей решил дожидаться одиночества побережья на скамье. Терпеть придется недолго: горный день короток, едва солнце начнет движение к хребтам, путь к морю окажется свободен. Еще раз оглядев футляр, оцупав каждый знакомый с детства сантиметр, он достал притихшую трубу, собрал ее. Давно, как же давно не касался волнующего холода ее своими горячими губами. Помедлив, Андрей вскинул трубу высоко, слился с ней, извлек несколько пробных нот — и вся набережная наполнилась мрачным трагическим звуком. Труба выдавливала из себя заупокойную мессу. Темная, сумрачная музыка была такой мощной, что остановила и звуки, и вопли, и хаос. Будто траурный занавес опустился с небес и прекратил водевиль жизни. Рыдала труба, страдала, молилась. Рассказывала историю сожженных домов, обгоревших птиц; поднятых на крестах, изувеченных, казненных, подорванных на минах, истерзанных «градами». Открывала тайну их невозвратных душ, которые, разлетевшись на атомы, никогда не попадут к Создателю, никогда не соберутся воедино, так и останутся навеки серой пылью, взвесьми... нигде не осядут, ни в ком не отразятся, ни на чем не задержатся. Все это Андрей хотел сам доверить людям и не мог, за него это делала музыка.

Спустя время набережная ожила, и в открытый зев футляра полетела сначала одна, потом другая монета, следом туда кинулась скомканная бумажка. Труба всхлинула и замолчала. Разве о том она заливалась? Еще не веря, что музыка оборвалась, гляделись в медное золото пальмы и кипарисы, притихло кромкой вод море. Андрей суетливо взял футляр, вытряхнул из него бренчащий мусор. Не для этого он сюда пришел и не это нужно людям на курорте. Там, где счастье, радость, нет места горю. И смерти тоже места нет. Застенчивостью подаяния, сором извиняющихся монет люди словно откупались от страданий, откупались от него самого. Так он видел, так чувствовал. И эти чувства явились теми единственными, которые все еще были подвластны душе. Ему не находилось места среди людей, как не было места его трубе, его прошлому и его разлетевшейся на частицы душе, ставшей секундантом «градов». Собраться бы ей воедино, пропихнуться в медь трубы, направиться бы потоком своим во что-то живое, того ожидающее, и воскреснуть, да нету, нету среди сущих на земле ни ожидающих его души, ни живущих ожиданием. Все, что он нес в себе, было темницей памяти, тяжким свидетельством мучений, бубонами черной смерти, которая заразна и потому требует изоляции. Но где укрыться, где спрятаться, если не придумало человечество еще таких обсерваций. Невидящими глазами он смотрел перед собой, не замечая, что прямо у его разнутого футляра стоит ошеломленный ребенок с красным

шаром в руках, доверчиво приоткрыв рот, изучает его всего: иссеченно-го, неживого, посыпанного песком ядовитой памяти. Искажается детский рот в испуге, кричит. Шар выпархивает из доверчивых рук, летит в небо, высоко-высоко. Ребенок безудержно надрывно плачет, и во всем этом действе случается некая дикость, обреченность: ветренный смеющийся шар и горькие слезы ребенка. И ко всему произошедшему причастен только он, Маэстро, при рождении нареченный Андреем, и виновен в этом тоже только он сам. Но что поделатъ, если музыка его не способна радовать и дарить счастье? Призвана отнимать, создавать темное там, где могло быть радужно-цветное.

Андрей встал, живо собрал инструмент, закинул за спину рюкзак, двинулся к морю. Снова не слышал, не чувствовал, не помнил. Обидел собой, своей трубой, ее альтово-сопрановым регистром людей. В чем они виноваты перед ним? А он виновен, виновен в том, что принес свою боль, чтобы мертвить ею их души.

На горизонте, там, где море пролегло дымчато-фиолетовой полосой, появилась темная точка, с ходом времени увеличилась. Прорезались в ней знакомые очертания. Вот и несколько тел на пляже вскочили, зашевелились: «Дельфин? Это дельфин? А почему не движется?!» Подлинно, то был дельфин, и он не двигался, повиновался волнам. Его сначала робко колыхало, потом бойко несло вперед, останавливало и снова несло. Вот высокий плавник мелькнул у буйка, исчез, сверкнуло белое брюхо. Пляж ахнул догадкой: «Мертвый?» — «Неживой», — мысленно ответил Андрей и, ковыляя, вошел в воду. Молчаливым стражем он стоял ровно до того момента, пока пляж не взялся суматошно сгребать вещи, уводить детей. Небольшое продолговатое тело билось о камни. «Касатик ты мой, — прошептал Андрей, направляясь к нему, — дитя горькое... белобочка...» Глаза дельфина смотрели чисто прямо в небо, длинный клюв был страдальчески сомкнут, грудные плавники простирались к человеку, точно молили о помощи. Сердце Андрея заплескалось внутри, облилось кровавым кипятком. Ко всему привык, а с этим притерпеться не научился. Особое волнение испытывал он с ребяческих лет к белобочкам: гордые они, всегда свободные, их стихия — открытое море, корабли. Ни за что не возьмутся устраивать цирк в дельфинариях. И, еще не понимая сам себя, не угадывая внутренних процессов, Андрей зарыдал. Зарыдал страшно, заревел как подренок, так тяжка была для него боль увиденного. Маленькое стройное существо, иссиня-черное сверху и белое на брюхе, колыхалось у самых его ног, Андрей не мог покинуть его и не мог вернуть к жизни. Не различая, что должно, что напрасно, не владея своими органами, задыхаясь от слез, которых чуждался, он ухватился за хвостовой плавник, потянул дельфина по воде вдоль береговой линии. У причала с трудом вытащил на гальку, опустился рядом. «Касатик мой, — шептал Андрей и смахивал с бархатистого тела кровавую струйку, — дитя горькое...»

Позади собралась пытливая публика: сначала держала дистанцию, охваченная страхом, немного свыкнувшись — обступала плотным кольцом. Андрей сидел, низко свесив голову, подняв обе руки над дельфином крылами, чтобы никто интересом своим не нарушил его мученичества. Чувства, глубоко спрятанные внутри, неуклюже рвались в мир горечью слез. Брюки намокли, правая штанина обтянула ногу так, что, того и гляди, зеваки бросят страсти свои о дельфине и примутся жалеть его самого. А жалости к себе Андрей не хотел. Он скинул со спины рюкзак, вытянул старую тряпицу, накрыл безропотное тело. Потом вспомнил, что куда-то

запросах встал флутор, и, заметив его у камней недалеко, качаясь, встал. На горизонте снова возникла точка, сначала одна, потом вторая, третья, Андрей задрожал, страхась повторения, но точки двигались сами, приближались, поблескивали из воды темные спинные плавники. У буйка они замерли — и раздался крик — дикое стенание моря. Волны, пенясь и шалея, несли на хребтах своих широкие возгласы отчаяния, стоны лихорадочной тревоги, безысходной боли прощания. Больше Андрей не мог оставаться здесь, он чувствовал, как погружается в бездну, из которой уже никогда не выбраться. Хотелось кричать, метаться, выть, бежать, броситься в море и уйти вслед за дельфинами, не оглядываясь назад, забывшись, что на сером галечном краешке суши у Часовни лежит то, что ей не принадлежит, но останется в ней навечно.

Гул человеческий голосов, переплетенный звеньями цепи с неумолкаемым стоном мятежного моря, разорвал призыв морских касс на нижней набережной. Объявляли посадку на «Комету» у восьмого причала. Андрей вмиг очнулся, наспех собрал вещи. Прочь из города с его бесконечным любопытством, праздностью, бездельем! Нужно торопиться, отправление через десять минут. Нога невыносимо ныла, тянуло жгутом в груди, но в голове, в самом центре горящего мозга, прорывался слабый, едва слышный зов предустановленности грядущих событий. На ходу Андрей вытер мокрое лицо рукой, она была в крови, значит, лицо в ней тоже. Ну и пусть, кровь мертвого дельфина уйдет по морю вместе с ним. Он возьмет ее туда, где еще мальчишка среди одиночества военных кораблей научился прятать свой талант от назойливости курорта.

Уже вечерело, когда Андрей остановился поверх минной стенки. Тихий уют покойной бухты обволакивал, очищал. Застопоренные мутные мысли дернулись ледяными глыбами, начали таяние, уступая место просветленному, омытому слезами трепету. Так чувствуют себя безвинно наказанные дети, когда слезами своими обращаются к Богу — и Бог утешает их. И верится, что соль человеческих страданий проточила бороздки света в несокрушимой броне мрака. Панорама местности утоляла духовную опустелость, гасила сердечную смуту. Сколько же лет тут не был?! Шесть-семь, а может, больше. Впереди, у причала дремали угрюмые морские суда. И оттого, что поблизости, в этой тихой локальной акватории, стояли те, кого он знал поименно, Андрею чудилось, будто впервые с момента своего возвращения он, наконец, признан, призван, понят... не людьми — печалью уставших военных кораблей, похожих на него в своем одиночестве. Облокотившись о сухой ствол акации, Андрей осматривал спуск, море, пожелтевшие листочки под ногами, причал — и вдруг замер. Как сразу не сообразил? В бухте серым цербером возвышался тот, кто не так давно нес службу далеко отсюда; выходит, и его отправили на покой. словно старому горячо любимому товарищу Андрей прокричал: «Братец, ты ли это? Неужто списали?» На Андрея радиолокационными установками внимательно смотрел эсминец. Корабль впервые с момента своего появления в бухте проявил интерес к человеческому существу. Было в нем что-то доверительно-близкое, почти родное. Эсминец услышал человека, навел локаторы: определил параметры движения, произвел опознание прибора в руке, измерил расстояние до объекта изучения, оживленно стал ждать последующих действий. Андрей осматривал два огромных сверкающих гребных винта: «Понимаю, брат, нелегко тебе, стало быть, всякие сутки глядишь на них, — он вздохнул, — я тоже успел на свой “винт” потарачиться, когда его дернуло, да киноло перед но-

сом! Не тужи, твои-то при тебе, а мой уж, поди, травы растит. Сморти-ка, — Андрей, опустив футляр на землю, согнулся, закатал штанину, — полюбуйся, братец, какой я теперь стал!» Радиолокаторами корабль уловил отраженные электромагнитные волны, установил металлический предмет вместо правой нижней конечности и признал человека своим полностью. Человек понимал боевую тоску его, а он выявлял невыносимое отчаяние человека. «То-то же, — возвращая штанину на место, усмехнулся Андрей, — повоюем еще, брат, потарахтим, будет нам с тобой семь футов под килем! Потому как живы! Живы!»

Андрей снова взглянул на винты, потом на газовые турбины корабля и вдруг совершенно неожиданно, почти нечаянно, познал что-то очень важное, что должно быть здесь и сейчас, непременно обязано случиться, точно вся его боль сотворилась predetermined, собралась в сгусток энергии, способной жить обезжизненное. Он схватил свой футляр, расстрожил трубу, направил прямо на эсминца. Сделал глубокий выдох: первый, второй, отпустил в инструмент одну за другой частицы души своей, желая отдать кораблю их все без остатка, чувствуя его ожидание, услышав зов его. Корабль быстро откликнулся, втянул их протяжным вдохом, наполнился ими, задрожал горячим воздухом над правой дымовой трубой своей. Грянула музыкой труба, и сначала робко, неуверенно, а затем обрадовано ликуя, подхватили ее четыре флейты, запели так тонко, так пронзительно, как никогда этого не делали. Взорвались оркестром волны, разразились хором альтов и сопрано, басов и теноров чайки и афалины, бакланы и азовки. Дернулся темный занавес небес: колышется, дрожит — и вершится благодатное таинство. Бухта, оглохнув, не может поверить в чудо соприкосновения с кораблем и пришедшим к нему человеком. Связываются единым духом корабельное и человеческое естество. Соединяются суша и море, пробуждаются винты, ползут золотом латуни к пепельному телу — уходит эсминец на скорости полного хода 39 узлов в открытое беснующееся море, поет; спешит за ним вслед скрежетом заржавевших петель оживший дельфин; встают черными призраками затопленные мачты, возносятся к небу, их тени касаются антрацитовых вод свинцовыми крестами; притягиваются атомы невозвратности, падают искупительными солнечными лучами на город; хохочет труба, заупокойной мессой воскрешая жизнь, и бежит по волнам нареченный Андреем мальчишка, обещая душою своею хранить корабли.

